

ТАНЯ-ГЕНЕРАЛ

Стояло невыносимо жаркое лето. На праздник родного села Бондари из трех десятых классов нашего большого счастливого выпуска 1957 года как самые достойные были приглашены только двое: я и мой давний школьный товарищ и приятель по детским играм Юра Карев, по странному прозвищу «Таня».

Вот так мы все звали его в то веселое время: Таня да Таня!

На эту позорную женскую кличку он охотно отзывался, хотя в его мальчишеской душе такое прозвище, вероятно, лежало тяжелым камнем, но что поделаешь? Зовут, значит, надо откликаться, а то еще чего-нибудь похлеще прилепят ватажные ребята. Послевоенная улица, куда денешься?

У Юры были две матери — мама Таня и мама Клава. Так, по крайней мере, он называл двух, еще совсем нестарых, женщин-сестер военного, лихого времени.

Как объявился у двух незамужних женщин сей отпрыск — неизвестно. Тогда забеременеть незамужней было позорно, но все равно ухитрялись ловить случай и, затянувши потуже живот, управлялись бедолаги, как могли. Под широкими юбками разве уследит любопытный глаз?

Озабоченные своими тяготами и лишениями соседи особенно и не интересовались, кто же из них двоих принес младенца. Ну, растет малый и растет, что ж тут такого? А что мамкает с ними обеими, так в людских семьях часто бывает: кто по головке гладит и сопли подолом утирает — тот и мамка!..

Сестры жили в нашем районном селе вместе, в одном домике из сырого ветхого кирпича, построенного еще до революции из отходов местного кирпичного завода: печь его вечно дымилась, окна слезились влагой и летом, и зимой, но зато стены были метровой толщины и, судя по всему, насыпные.

Летом в доме было холодно, как в леднике, но зато зимой угарно и душно.

Погода все же выяснилось, что сына двум счастливым женщинам сделал невзначай командировочный комиссар, прибывший в Бондари за продовольственным пополнением для Тамбовского военного гарнизона кавалеристов. Казармы этого гарнизона до сих пор помнят разгульных казачков со звякающими блестящими шпорами на высоких щеголеватых каблуках. После войны школу кавалеристов расформировали, и на твердой базе готовых казарм и оставшегося военного имущества было организовано финансовое училище для славного Министерства обороны.

Училище это, готовившее военных счетоводов, у выпускников нашей школы, даже тогда, когда слово «офицер» сразу, как плотиной перехватывало дыхание у местных невест, особым успехом не пользовалось — нет романтики! Да и погоны невыразительные, общевоинские. Кислятина, одним словом, и вечная скука над погремушками счетов, засиженными мухами! Но даже туда поступить было, как теперь говорят, нереально — конкурс тоже зашкаливал.

В Тамбове еще располагались пехотное училище — для самых выносливых бегунов, училище связи — для любителей физики, артиллерийское училище — для математиков и совсем уж для особо отчаянных — училище летчиков.

Все названные училища были среднетехнические, и только училище летчиков — высшее. Вот где романтика! Вот где девичьи слезы любви и восторга! Вот где мужская похвальба и гордость! Золотые птички на голубой тулье фуражки, крылышки на погонах... Э, да что там говорить, в мечтах запутаешься и уснешь на печке уже осчастливленный!

Это все от книжек. Начитался до боли в глазах перед керосиновой коптишкой «Двух капитанов» и заказал себе на будущее быть не абы кем, а летчиком. Все мои устремления были направлены только на это.

Я рос в многодетной семье оторвой и уличным человеком, а мой товарищ, Юра Карев, по обидному прозвищу Таня, выросал один под пристальным вниманием двух женщин.

Всегда опрятный, чистый, пусть и в ветхой, но до подбородка застегнутой одежке, он вызывал у нас непристойные презрительные восклицания и насмешки — баба, она и есть баба. Таня, одним словом...

Если он ходил на речку, которую можно было переплыть одним взмахом, его мамки сидели на бережку и боязливо ойкали, когда тот подныривал под бережок за ракушками. Иногда Юра удил пескариков, тогда его мамки усаживались молча рядом и тоже сторожили поклевку. Однажды ему удалось поймать небольшого, в ладонь, окунька — вот было восторгов! Его осчастливленные мамки с гордостью показывали соседям рыбац-

кую удачу своего отпрыска, что тоже не прибавляло нашего уважения к нему.

Надо признаться, малый он был невредный, хотя и не очень общительный. Там, где надо было дать по морде за дразниловку, он только грустно покашливал в нормальный крепкий кулак и отворачивался в сторону. За это его редко брали с собой в поход на тощие бондарские сады или в игры не всегда безобидные.

Я с ним близко сошелся в четвертом или пятом классе после драки, которую «на интерес» спровоцировали старшие ребята. Юра дрался со мной мужественно и честно. Он был на голову выше и мог бы запросто сбить меня с ног. Но у меня было преимущество: я хорошо работал головой, а на голове у меня была легкая, вечная кожаная на байковой подкладке шапочка для бойцов-десантников, которую мне подарил вернувшийся с войны дядя по матери.

Шапчонку эту я не снимал ни зимой, ни летом. Ловкая, хорошая шапка с прострочкой пропеллеров на макушке и кармашками с заклепками на ушах для телефона.

Ребята обязали нас драться до первой крови, и мы сошлись.

Ставили больше на меня, но от этого мне легче не было.

Как-то извернувшись из его цепких рук, я поднырнул и, резко подпрыгнув, ударил головой ему в лицо. Кровь тут же стала густо капать на снег и драка прекратилась.

Если бы схватка была продолжена, мне было бы несдобровать. Таня был крепче и сильнее меня, но в полной мере он свою силу не использовал, и мне стало перед ним стыдно. Набрав из-под корочки сугроба в горсть чистого снега, я услужливо подал ему, чтобы остановить кровь, и он кивнул мне, мол, не бойсь — уговор дороже денег.

Жил он от меня наискосок на одной улице, и встречались мы с ним почти каждый день. Как-то он позвал меня к себе домой и, расстелив на столе «Пионерскую правду», показал детальный чертеж летающей модели винтового самолета. В газете все было описано подробно: и технология изготовления — что и как делать, и про стабилизатор полета, и про резиновый моторчик с пропеллером, элероны и лонжероны, и руль высоты.

Одним словом, настоящий самолет — оседлай и лети верхом на все четыре стороны! У меня даже дыхание перехватило. Вот бы нам такой сделать и улететь! Но просчитав размеры, мы убедились, что прокатиться на нем невозможно, а вот если ночью подвесить к нему электрический фонарик да запустить... Все Бондари от страха окна и двери, крестясь, позакрывают. Подумают, что это змей огненный добычу промышляет.

Тогда ходили ужасные слухи, что к одиноким послевоенным бабам по ночам пропавшие на войне мужья прилетают. Только это и не мужья вовсе, а огненный змей из преисподней, тоску наводит, чтобы горемычную какую за собой увести. Так бабки рекли: «Свят! Свят! Свят!» и щепоткой, вроде как из солонки, чтобы чего не было, мелко посыпали себя. Война хоть и давняя уже, более десятка лет как прошла, а вот она — рядом, под самым сердцем...

Во мы устроим в Бондарях страх и ужас!

Юра тоже в азарте потирал руки:

— Давай на нашей улице запустим! Припугнем этих суеверных старух, чтобы языками не стращали!

Сказано — сделано!

— Давай!

И мы принялись за работу, хотя кроме перочинного ножика у нас из инструментов ничего не было.

Перво-наперво надо изготовить полутораметровую рейку квадратного сечения 10х10 мм, на которую будут крепиться все остальные детали: мотор, пропеллер, крылья, стабилизатор — все, что полагается настоящему самолету. Рейка — это основа, фюзеляж. От нее надо плясать.

Мой отец как раз в это время прикупил несколько тесин, чтобы укреслить дом резными ставнями.

— Ничего, — говорил батя, укладывая тесины на просушку, — я при НЭПе на Белом море шхеры с ребятами строил для рыбаков, а дом наличниками украшу, как Бог черепаху! — И пьяненько смеялся. Это у него такая присказка была — «как Бог черепаху».

Пока отца не было дома, я быстренько отчекрыжил ножовкой половину доски и отнес к своему товарищу во двор.

Потом отец, когда на ветерке перебирал тесины, все в раздумье чесал голову, соображая, как же это он вместо целой доски взял половинку?

— Вот мошенники, пили вместе, а меня обмикитили! Может, ты, стервец, отпилил?

— Очень мне нужно!

— Вот теперь еще искать доску! У меня же все рассчитано!

— Может, хватит? — вставлял я.

— Я вот щас тебя, так хвачу, что сразу умнее будешь...

Я от греха подальше тут же смылся на улицу.

Изладили, извертели тесину — ничего не выходит. Топором кололи — щепка одна. Много щепы, а рейки не получилось.

Прихожу домой, отец с рубанком и долотом возится, все выпиливает, выстругивает голубков разных на наличники, кружева вяжет. В ногах у него обрезки, стружка. Смотрю, в стружках узкий продольный краешек тесины, по толщине как раз на рейку хватит.

Поднял обрезок. Кручу в руках.

— Ты чего? — Отец занят, чертит, рисует, строгают.

— Да вот на дротик подходит. Играть буду. Можно возьму?

— Можно, можно, только осторожно! — батя доволен. Доску у соседа в долг выпросил. Теперь, небось, хватит...

Я к товарищу:

— Достал! Смотри какая!

Обстругали ножом по размеру. Зачистили наждачной бумагой, которую я потихоньку взял дома. Вот теперь в самый раз!

Подошел для интереса малый лет пятнадцати, эдакий бондарский известный лоботряс и второгодник Мишка Кувакин:

— Чего гондобите, салаги?

— Самолет! — ответили в один голос.

— Са-мо-лет? Ну-ка, ну-ка! — протянул длинную руку Кувакин и, подняв рейку над головой, размахнувшись, выпустил из рук.

Рейка тупо шлепнулась прямо в свежую коровью лепешку: как раз только что пригнали с пастбища деревенское стадо.

— Самолет, а не летает? — загыгыкал Кувакин и, потеряв к нам интерес, пошел по своим делам, наступив ногой на стержневую деталь самолета, над которой мы целый день трудились до кровавых мозолей.

— Вот гад! — сказал я.

— Да, нехороший человек, этот Кувакин! — мой удрученный това-

рищ, поднял обломки и вертел их в руках, соображая, как это все можно склеить, восстановить.

Я говорю:

— Ничего не получится! Давай весь самолет уменьшим в два раза!

Мы уже проходили в школе масштабные величины, и чтобы использовать обломок рейки, я предложил уменьшить на чертеже все детали ровно в два раза.

— Полетит! Точно полетит! — поднял я другой обломок.

— Должна...

Пришлось равнять концы и вымерять длину.

Теперь будущий фюзеляж самолета стал вдвое короче. Ничего, полетит! В масштабе все-таки...

Крылья, стабилизатор, руль высоты и лонжероны мы решили за неимением бамбука сделать из сухого тростника и гибких лозинки, предварительно выгнув и закрепив их нитками по лекалам, как на чертеже. Пропеллер и резину на мотор решили достать позже, когда испытаем модель в планерном полете. Так было написано в газете.

Ну, кажется все! Столько вложили труда и выдержки, что самолет должен был непременно полететь.

Лето тем временем подходило к концу. Скоро в школу. Мы уже представляли, как подарим в красный уголок свой экспонат. Правда, у нас еще и клей на узлах никак не хочет сохнуть, и папиросной бумаги на оклейку оперения пока нет.

Ну, ничего, это потом!

И вот стоит он, наш красавец, весь опутанный для фиксации соединений нитками на самом солнцепеке. Сушится. Мы счастливы безмерно. Радуемся. Даже плясать начали.

Рядом в пыли и остатках навоза возится огненно-красный петух, перекатывая в горле горошину, скликает к себе за жемчужным зерном безразличную хохлатку.

Вероятно, вскипев гневом, петух, резко хлопнув крыльями, коротко взлетел и, запутавшись в самолетном такелаже, с паническим криком потащил на шпорах по двору почти готовый к пробному полету самолет, размочалив его до основания.

Наша крылатая мечта в один миг превратилась в щепу, в ничто.

Позже, гораздо позже я убедился, что в жизни то, чего больше всего желаешь, обычно не случается. Закон подлости...

Я запустил обломком кирпича в орущую тварь и точно попал в цель: красавец сразу опрокинулся на спину, заскреб крыльями сухую землю и засучил спутанными нитками ногами с острыми шпорами.

На шум выскочила на крыльцо соседка, баба Шура. Увидев своего огненного куриного красавца в печальном положении, начала кричать, что нам головы оторвет, если что с петухом случится.

Военные вдовы ругались почти по-мужски, так что нас это несколько не удивляло, а вот за свои головы стоило опасаться, и мы убежали под защиту мамок моего товарища.

— Я ее подожгу! — сказал я необдуманно.

— Ты что!? — испугался Юра. — Она же рядом живет, и мы сгорим.

— Не сгорите, — говорю утвердительно. — У вас дом каменный!

— А крыша из соломы! Сгорим, как миленькие!

— Ну, ладно, поджигать не буду! А кочета точно убью, если он сам не окочурится.

Плакать бы нам и выть щенками от безысходной обиды за сломавшую мечту, если бы не этот скандал с бабой Шурой. У нее была куриная лапша, будто в праздник, а у нас... по крайней мере, у меня дома был допрос с пристрастием: зачем я убил Шуркиного кочета? Уши горели...

После этого случая, мы как-то разошлись по интересам.

У меня появились другие друзья и забавы. А Таня уединился сам в себе. Хотя мы и встречались на улице и в школе, но разговор о нашем самолете, так и не увидевшем небо, как-то уже не заходил.

Конец школьных лет подошел незаметно и сразу. Вот итог, а вот порог! Порог один, а итоги разные. Иди, гуляй куда хочешь. А куда хочешь — там нас не ждали...

В те годы конкурс в учебные заведения был невероятный — выпускников уйма. Перед войной провидение больше заботилось о сохранении нации, а не о комфорте предстоящей жизни.

Но Таня, Юра Карев, свободно поступил в финансовое училище.

Нет, не забылись минутные связи бывшим комиссаром по продовольствию, который теперь служил в том же училище, хоть и не в большом чине, но при кухне.

А я в летнее училище так и не поступил. На медицинской комиссии по зрению доктор, придавив мне дощечкой один глаз, другим заставила читать в самой последней строке буквы, которые я с трудом, но угадал. А вот во втором глазе, когда дощечка отпала, мне помешали розовые круги, и я мог прочитать только третью строку сверху.

— Носи очки! — сухо сказала мне врачиха и крикнула следующего кандидата.

Не знаю, что у меня было с глазом, но очки я никогда не носил. Видел нормально.

Трагедия, конечно, ощущалась, но жизнь продолжалась.

В городе, как раз шел новый фильм «Высота» про монтажников-верхолазов, посмотрев который, я снова воспрянул духом: вот она, моя жизнь! Вот оно, небо, так близко и без лишних хлопот!

В отделе кадров меня взяли в бригаду монтажников с охотой и дали место в общежитии.

И я загулял...

В то время когда мой бывший товарищ по детству грыз скучные цифры и осваивал строевую подготовку, я с веселым народом учился «плоское катать, круглое таскать, а что не поддается — ломиком!» Учился сквернословить, с размаху выбивать пробку из бутылки, шерстить девок по рабочим общежитиям и многому другому, что мне и до сих пор еще мешает в жизни.

Как служил в армии Юра Карев, я не знаю. Но он купил своим мамкам новый деревянный дом, сам его обустроивал.

Как-то, будучи в Бондарях, я с удивлением увидел его с завернутыми штанинами топчущим босыми ногами глину с размокшей и распаренной соломенной сечкой. На штанинах, как на казачьих брюках, атели лампасы. Я еще пошутил, мол, не генерал ли он?

— На материальном складе подобрал. Там такого добра... — и снова принялся топтать мешанину. — Вот сарайчик для кур решил оштукатурить.

Я предложил ему выпить, благо бутылка лежала тут же в пакете. Он наотрез отказался, сославшись на то, что за всю жизнь он выпил только один раз в Москве рюмку шампанского при окончании академии. Курить

он тоже не курил. И я, потомившись рядом без дела, пошел искать более сговорчивого земляка.

Время все же отнеслось ко мне снисходительно. Несмотря на круговую молодость, мне удалось окончить технический институт, после которого я уже не «болтил гайки» и не «катал плоское», «круглое не таскал» и ломиком не часто размахивал.

Работа на строительных площадках приучила меня к простоте общения, к легкости всевозможного приятельства и умения ценить человека, особенно своего ровесника, наглотававшегося в своей короткой жизни горестей и бед.

Долгие размышления в ночные часы привели меня в писательское сообщество. Я стал, к своему удивлению, членом Союза писателей СССР, сумев напечатать несколько книг стихов и прозы.

Литература была и стала для меня всем...

И вот я по приглашению новой районной администрации, которая, наверное, где-то что-то слышала обо мне, пришел прямо с вокзала в районный Дом культуры, который мы раньше называли просто клубом.

Здесь, кажется, время застыло навсегда. Те же скамейки в зрительном зале, тот же скромный антураж сцены, где мне, наверное, придется что-то говорить. Ведь зачем-то пригласили.

Народ уже на местах — и не одного знакомого лица! Я, оглядываясь, стал выискивать, где бы присесть. Возле серьезного, в полевой форме генерала место было свободным и я, спросив разрешения, опустился рядом.

Потом меня в генерале что-то заинтересовало, и я повернулся к нему. Господи, как мы постарели!

— Таня, это ты?..

— А ты — Цыганок?!

Угадал! Цыганом меня звали все школьные годы за смуглость кожи и кудреватую прическу.

Вот судьба! Шли разными дорогами, а встретились здесь.

Было видно, что генерала пригласили серьезные люди. Генерал живет в Москве. Большой человек! Он, наверное, и в Кремль вхож...

А меня, как потом оказалось, пригласили совсем случайно. Кто я и что я, здесь никто не знал, кроме пожилой седенькой библиотечарши, которая меня помнила еще со школы. Работники администрации теперь, как и все состоявшиеся люди, конечно, книг особо не читают и ценят больше бумажный хруст денежных знаков.

За кумачовой, еще с прошлых времен, трибуной председательствующий бубнил о том, как хорошо, что мы теперь все освободились от советских ужасов и какое благодатное время наступило для предприимчивых людей и еще что-то в этом роде.

Мы с генералом, слушая все это вполуха, даже удивились, как нас пригласили на сцену. Тяжело было стоять в родном клубе, у себя дома, где прошло все мое нищее детство, и не увидеть ни одного знакомого лица. Горло перехватило комом, и я, смяв продолжение стихотворения, посвященного родному селу, повернулся к генералу, сказав, что вот он скажет все за меня, потому как нервы у него стальные и закаленные перестройкой.

Генерал Таня, и вправду, говорил коротко и толково, посетовав на то, что вот, мол, шумит знаменами праздник, а пригласили из дальнего времени только нас двоих...

Несмотря на кипящее солнечное море, стол, накрытый в школьном дворике, генерал, подхватив меня под руку, предложил сходить на речку нашу Большой Ломовис и там, в каком-нибудь омутке, накупаться вволю.

— Есть! — по-военному согласился я. — Приказ не обсуждается! — И мы, довольные друг другом, обнявшись, подались на уже порядком обмелевшую реку. Генерал, плюхнувшись с берега, объемистым телом только расплескал воду...

Господи! Вот оно, детство-то наше, оказывается, никуда не ушло!

Ухнув с головой на самое дно, я в блаженстве ощутил холодные подводные струи пока еще не затянутого илом родничка. Дыхания хватило только на выкрик: «Хорошо-то как!»

— Ты крути, крути велосипед ногами, чтобы придонную воду поднять! Парное молоко! — недовольно проворчал генерал, накручивая в воде воображаемые педали.

— Чего мучиться? Нырни! — я снова опустился на дно.

— Я бы нырнул, да закон Архимеда не позволяет, — вынырнув, услышал жалобу своего бывшего товарища.

— Какой? И про какое тело?

— Да ну тебя! Ты всегда учился плохо! — он все так же продолжал крутить «велосипед».

Пошатавшись по селу, в сумерках мы вышли к центральной площади. Там усиленный в сотни раз чудо-техникой, гремел африканский барабан, в ритмах которого извивался настоящий... африканец. Полуобнаженный, играя вспотевшим антрацитовым телом, он так завел местных, жадных до зрелищ юных особ, что они, выкрикивая нечленораздельные звуки, тоже веселились по-своему.

— Каждый веселится как хочет, — говорил черт, садясь голой задницей на горячую сковороду, — ухмыльнулся я, видя неистовство сельских красавиц.

— Ну, это в тебе говорит косность. Зачерствел, брат, ты душой. Вспомни, как сам выделял кренделя на школьных вечерах. А?

— Ну, не так же!

Тем временем село погрузилось в ночь.

Черный бархат задрапировал окружающее пространство. Ни огонька! И только гигантским кострищем горели подмошки, на которых за большие деньги, выделенные администрацией, бесновалась чумовая эстрада.

Праздник удался.

Мы спросили у местного жителя, почему в районном центре не горит электричество.

— Подстанция маломощная! — Мужик оказался здесь дежурным электриком. — Вот они, киловатты горят! — указал он на огнище у памятника Ленину.

— Деньги горят! — со знанием дела поправил мужика мой генерал. — Пошли нах хауз! — повернулся он ко мне, махнув рукой и на девиц, и на негра. — Я тебя утром приду на автовокзал проводить.

В темноте мы, чертыхаясь, побрели каждый своей дорогой.

Утром спозаранку я уже был на вокзале. Вокзал в конце села. Пока спешил, все кочки пересчитал. Надо еще успеть взять билет до Тамбова, а там с пересадкой на град Воронеж, где я и обосновался с недавних пор.

Вон и генерал мой, хромая, издаликает приветствует меня взмахом руки. Другую руку оттягивает пластиковая большая сумка.

— Ты чего хромаешь-то? Вчера вроде как лось на танцах резвился! — пошутил я над ним.

— Тебе вот все шутки, а я вчера чуть ноги не поломал. В темноте палисадник у кого-то повалил. Коленка мозжит...

— А сумка тебе зачем?

— Это не мне, это тебе сумка. Гостинчик с Бондарей. Картошка молодая. Я сегодня чуть свет у бабки Шуры, пока она спала, ведро нарыл. Тебе вот!

Я хотел было отказаться, да подумал, что нехорошо генерала обижать. Он старался. Заботился.

— Спасибо! — говорю. — А что, бабка Шура еще не сгорела, я ее ведь поджечь обещался?

— Дурак ты! Она бабка золотая. Я у ней каждое лето квартирую. Мойто, — он так и не назвал своих мамок, — упокоились, я дом и продал. Девяностые годы. Нужда крайняя.

— Какая у тебя нужда? Генерал! На финансах сидишь. Небось, деньгами всю квартиру обклеил.

— Да в отставке я теперь. Пилить бюджет при уральском борове отказался, вот меня и поперли из армии. Хорошо, хоть квартиру под Москвой дали. У меня шесть человек детей и четверо внуков, а всех корми — генерал! Разве на пенсию проживешь? Домик в Бондарях продал — купил машиненку. «Газель» называется. Бегает пока! Разные продукты по ларькам развожу. Чего смеешься? Думаешь, генералу деньги не нужны? Я вот в полевой форме выступать пришел. Парадную моль проела. Только ордена да медали одни нетронутыми остались. Новую купить не могу... Бери картошку! Чего ты? Всю руку оттянула!

Рядом просигналил автобус. Надо было прощаться. Обнялись, ткнувшись друг другу в щетину...

— Бабке Шуре привет! — крикнул я, обернувшись в дверях. — Не говори ей, что я дом поджечь собирался!

— Ладно, не скажу! — махнул рукой генерал Таня и захромал по улице.

ЖЕЛЕЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ

*Я в книжке записной листаю адреса,
Но все мои друзья ушли на небеса.*

Глеб Горбовский

Тихая, ни с чем не сравнимая прелесть русских погостов, их бесконечная печаль под бесконечным во все края небом. Шуршат, как сухие крылья огромных стрекоз, выгоревшие под солнцем, когда-то яркие прощальные венки, напоминая о бренности всего земного: пропитанные парафином бумажные цветы на них поблекли, краски вымочил дождь. Ветер, солнце и время доделали свое дело. Мятая бугристая бумага, стянутая в узелки, скрепленные между собой поржавевшей проволокой, жилистой и жесткой — вот и все, что осталось от погребального обряда, жуткого в своей пышности да, наверное, и от того, кто лежит здесь и давно уже сделался землей сам. Время вытравливает мелочи, и сущность становится виднее, обнаженнее.

Я смотрю, и сердце защемляет жесткая проволочная петля. Господи, оставь что-нибудь на этой травянистой земле от того, что дышало, смеялось и пело под небесной синевой на белом, ослепительном свете грядущего дня!

Полынковское кладбище новое, еще, если так можно выразиться, необжитое. Деревья молоденькие, в основном березки да рябинки. Они и после жизни — наши!

Сухое, жаркое лето. Кузнечики в обожженной траве точат свои ножи. Степь да степь кругом! Над Татарским валом без единого взмаха широких крыльев ходит и ходит кругами коршун, что-то выискивая на земле. А может, это и не коршун вовсе, а русский мальчик-воин. Сын своей нелюбезной Родины, душа которого спустилась с кавказских гор, ищет и не найдет покоя себе... Летай, летай, мальчик, ходи кругами от конца к началу. Начало твое было счастливым в сладостном стоне, с которого все обозначается в нашем живом мире...

Вот ведь время какое! Разве мы думали тогда, что наши дети, сменив рогатки на автоматы, будут воевать на своей собственной земле и ложиться в эту землю? По чьей вине? Скажи, Георгий Дмитриевич Ремизов, скажи, мой старый товарищ, разве могло нам примниться такое?

Но равнодушно шуршит трава на низком бугорочке, опаленная степным суховеем. Жарко. На городском погосте кресты, кресты, кресты...

Вот и над тобой, верным комсомольским работником, редактором и коноводом молодых начинающих писателей, тоже вырос, раскинув в недоумении руки русский православный крест.

Разве ты думал об этом? Тебе более бы пристала четырехгранная пирамидка с пятипалой красной звездой. Под этой звездой и во имя этой звезды ты честно делал свое дело. Влюбленный в «бучу молодую, кипучую» и в литературу, которую ты пестовал на тамбовской земле.

Мир твоему праху!

У маленькой оградки, безыскусно сваренной из тонких металлических стержней, огораживающих последнее пристанище моего товарища и учителя, я оказался совершенно случайно, благодаря художнице и поэтессе из Котовска Лидии Кобзевой, которая и пригласила меня посетить могилу Георгия Ремизова.

Но, как говорят умные люди, в жизни случайностей не бывает. Так и в этот раз. Жара несусветная. Стою на троллейбусной остановке. Транспорта нет. Мне срочно надо побывать у заказчика, подписать объемную процентовку на выполненные монтажные работы: месяц кончается, а выполнения плана нет. Зарплата рабочим на моей совести. Заказчик капризничает. Так просто работу не принимает. Пришлось брать бутылку водки. «Давай — говорит заказчик, — бутылку, и по рукам!»

Рядом с объектом магазинов нет, пришлось ехать в город. Бутылка тянет карман. От перегретого воздуха и выкуренных сигарет во рту чад какой-то. Отплевываюсь. Оглянулся, смотрю, улыбается мне милостивая женщина. Стало как-то неудобно за свои плевки. Снова оглянулся. Та женщина опять смотрит и улыбается.

Отвык я со времен от любопытных женских взглядов. На меня уже лет десять так никто не смотрел.

Подходит:

— Аркадий?

— Аркадий — отвечаю я в замешательстве.

— Макаров?

— Конечно, Макаров! А кто же еще? — отшучиваюсь, роясь в памяти — может свидание когда-то с ней имел? Мало ли что было в молодости!

— Не узнал? — В руке у женщины маленький букетик слегка подвувших полевых цветов головками кивает.

— Узнал — говорю, а сам соображаю: где ее видел и когда?

— Я — Лида Кобзева. Помнишь, как мы к Ремизову на литературную среду ходили? Я еще тогда школьницей была. Помнишь?

Не вспомнил я Лиду Кобзеву. Ну, раз мы вместе занимались у Ремизова в литгруппе, тогда — конечно. Тогда — здравствуй!

Делаю вид, что я ее вспомнил. Знаю. Стихи хорошие писала...

— Здравствуй! — говорю.

— А я вот к Георгию Дмитриевичу на могилку собралась, цветы положить... Догорает лето. Кончается... Я во всякий приезд в Тамбов туда хожу. Посижу, вроде как и наговорила.

Мне стало стыдно, что я так и не удосужился ни разу посетить могилу нашего тогдашнего учителя и друга, молещика за русскую литературу, которую он в нас пестовал на утренней зорьке нашей жизни.

«А ну их, эти процентки, сметы и наряды! Работа не Алитет, в горы не уйде!» — вспоминаю я любимую поговорку своих монтажников. — Надо к Ремизову доехать, а то так и не будешь знать, где его бугорок зеленеет».

— С тобой можно?

— Конечно! — обрадовалась Лида.

А тут как раз услужливо подкатил троллейбус. По-ехали!

Кресты, кресты простор перекрестили...

Георгий Дмитриевич Ремизов, Юра, как мы его по-дружески называли, не отличался особой чванливостью, обычно присущей чиновникам того времени. А редакторское кресло — номенклатура обкома комсомола. Человек, сидящий в нем, должен выпрямлять идеологические горбы в молодежной среде, где в оттепельные перестроечные годы поселилась бацилла сомнения и скептицизма, выплескивая на эстраду продукт своего брожения.

Наиболее характерной в этом смысле была поэтическая эстрада. Никогда еще такой популярностью не пользовались рифмованные колонки строк на полотнищах местных и центральных газет. Да и газеты с большой охотой брали поэтический товар. И этому разлитому поэтическому морю требовались берега редакторской строгости.

В Тамбове к тому времени оформилась довольно шумная молодая литературная компания, к которой принадлежал и я. Объединение называлось «Литературная среда», и занятия наши проводились соответственно по средам. Метафора, так сказать, была материализована. Среда — это сущность, объединяющая нас, и среда, как один из дней недели, полностью совпали и отождествились. «Литературная среда» существовала и до появления Ремизова в редакторском кресле «Комсомольского знамени». Но наиболее плодотворным литературный процесс на Тамбовщине стал только с приходом Георгия Дмитриевича. Занятия по средам часто затягивались до самой полуночи, вовлекая и нас все глубже и глубже в творческий водоворот, перемешивая чистую живую воду с легковесным мусором и пеной.

Но эти сборы были всего лишь формальной стороной: приглашались ученые филологи и литературоведы из педагогического института, приглашались искусствоведы, а неформально наши занятия не прерывались никогда, ни на один день. После работы, вместо того чтобы идти домой или на свидание к девушке, мы зачастую заворачивали на огонек настольной лампы, под которой сидел вечерами Ремизов. Кабинет его был небольшим, с массивным редакторским столом и вместительным диваном, обтянутым коричневым кожзаменителем.

Кажется, стол тот благополучно перешел по наследству к писателю Василию Кравченко на дачу, а диван, ввиду его громоздкости, при переезде обстоятельно вытащить в дверной проем не смогли. Он так и остался в том самом кабинете при переезде редакции в новое здание на Моршанском шоссе.

Этот гостеприимный диван принимал в свои объятия человек по семь-восемь, настолько был вместителен. Вероятно, прописался он здесь еще со времен всеобщей экспроприации и пережил не одного хозяина. Иного совслужащего увозили на воронке, другой уходил сам, третьего останавливал сердечный приступ... А диван оставался. Круглые мягкие воланы подлокотников повитерлись, показывая суровую тканевую основу, высоченная спинка дубового дерева, пропитанная красноватым лаком, местами была в защепах, но прочно удерживала наши спины.

На этом инвентарном казенном монстре мне не раз по нужде приходилось коротать бездомные ночи. Теперь я с улыбкой вспоминаю то время, на то она и молодость, что «...там лечь, где встать, и там не встать, где лечь», как говорил в боевом пылу один из советских классиков. Но, что тут вспоминать! «Отгудели мои пароходы, отстучали мои поезда...», — это уже из другого классика.

2

Я вернулся в «Литературную среду» после службы в Советской Армии, когда ею уже руководил Георгий Дмитриевич Ремизов.

Обрадованный своими успехами в армейской печати, я, хруп-хруп солдатскими сапогами по еще не слежавшемуся снежку, направился на другой день после демобилизации в редакцию молодежной газеты со своими, но уже гражданскими стихами, с намерением поразить своим талантом редактора. «Посмотрим, что скажет этот ученый гусь», — думал я, представляя, как вскинет на меня удивленные глаза наторевший в письменах газетный начальник.

До сих пор я Ремизова никогда не видел, но знал, что он большой любитель литературы и через его руки проходят все поэтические материалы. То, что он должен быть в очках, понималось как-то само собой разумеющееся. Я еще не очень привык к «гражданке», к ее свободе, и шел, с удовольствием вдыхая родниковой свежести воздух. День стоял чистый и звонкий, как ледяная вода в графине. У нас в рабочем общежитии всегда стоял такой графин, и вода в нем всегда была ледяная — топили плохо и нерегулярно. Поутру вместо завтрака глотнешь такой водички — и в путь, ковать свой железный венец. Работа тяжелая, но ничего, ведь я тоже не старик. Стучи, стучи, кувалда, железо куй стране!

Редакция молодежной газеты располагалась на третьем этаже старин-

ного объемистого здания, что и сейчас стоит напротив городского сада. Здание знаменито тем, что в нем на восходе советской власти располагался первый Совет рабочих депутатов.

Захожу. Ищу табличку на дверях, где написано слово «редактор». Табличек на дверях никаких нет. Прохожу в дальний конец коридора, справедливо полагая, что кабинет начальника должен находиться в самом удобном месте, чтобы вечная суета и круговерть рабочего момента не мешала высоким думам на ответственном посту. Толкаю дверь предбанника. Справа — обитая дерматином дверь, наверное, сюда.

К тому времени я был уже достаточно нагл, чтобы открывать дверь без стука — боялся показаться робким.

Слева от двери, в углу, несмотря на дневной свет в окнах, под зеленой настольной лампой сидел человек. Точно, в очках! На мое появление — никакого внимания! Сидит, зарывшись в бумаги. Топчусь в дверях, громко кашляю.

— Чего стоишь? — говорит мне бумажный человек, похожий одновременно и на Пьера Безухова, и на Обломова. Тоже одутловатая фигура и близорукие глаза. — Садись! — Кивает он мне головой на диван, стоящий напротив двери. — Небось, стихи принес?

Эта фраза меня сразу же наповал. Я представлял свою исключительность по-другому, а здесь, наверное, стихи, как шуга в полую воду, редакцию захлестывают.

Сажусь присмиривший. Бравлада слетает испуганным петухом с наста. Достая сложенный вчетверо лист бумаги. Еще с утра выводил каллиграфически, как прилежный ученик, строчку за строчкой.

Пишущей машинки, разумеется, еще не было.

Смотрю внимательно на редактора. Тот с головой ушел в широкий газетный лист. Вычитывает завтрашний номер.

— Читай! Не обращай на меня внимания. Я слушаю.

Читаю. Мои, еще недавно чеканные строчки рассыпаются по принципу «домино». Стихи падают плашмя на плоскую мысль. Строчки рвутся. Везде видны белые нитки. Ничего хуже этого я в жизни, кажется, никогда не писал. Сижусь придавленный обрушившимся на меня стыдом.

Георгий Дмитриевич, а это был именно он, все читает и читает серую простыню газеты. Потом, не отвлекаясь на меня, звонит куда-то. Приходит женщина, по-видимому, технический сотрудник, забирает из рук редактора полотно, испещренное птичьими знаками, и уходит.

— Ну-ка, давай еще что-нибудь! — Редактор откинулся к спинке стула, снял очки и, щурясь на свет в окне, стал протирать стеклянные кругляши уголком бархатной накидки.

Читаю свои коронные, написанные лесенкой, как мне казалось, — модернистые:

Выходной костюм
выглажу.
Вспомню
твой светлый локон.
Ветер
собакой
вылизет
Дорогу к твоим
окнам.

Если признаться, по правде, никакого костюма — ни выходного, ни будничного — у меня не было, но все равно читаю взахлеб:

Руки твои —
Белокрылые чайки.
Они отдыхают.
Они, отдышавшись,
На плечах у меня засыпают.
И нас засыпает
Голубая пороша.
И шепчут мне губы:
«Ты самый хороший...»

— Бодяга, старичок! Кхы-кхы-кхы! — Ремизов всегда так смеялся, с прикашливанием. — Бодяга, но стихи давай сюда! Сегодня среда. Заседание литературной группы. Приходи! Послушаешь, как ребята пишут. Учиться тебе, старик, надо. С Якушенко, с Женей Харлановым познакомишься. Но в драку с ними не лезь. Побьют!

Краснею до самых пяток. Вот-вот брызнут слезы из глаз.

Чтобы заглушить стыдобу, матерюсь вполголоса.

— Ну, ты ерш! — восхищенно говорит редактор Ремизов. — Давай стихотворение! То, самое первое.

Протягиваю уже смятый лист и выплескиваю на улицу, как грязная вода из ушата. На улице отсырело. Снег, с утра еще скрипучий, стал превращаться в кашицу, сапоги обижено хлюпают. Нехорошо. Зябко.

Вот-те на! Похвалился гад своей бездарностью!

Захожу в первопопавшуюся забегаловку. Выпил водки — не полегчало! Пошел смятый в общежитие.

Сегодняшний прогул бригадир зачтет за вчерашний «отгул», а завтра надо быть на работе, как штык, вот этой пятерней хлеб зарабатывать...

Бросай писать! Бездарь! Графоман!

3

Вечером на очередное занятие литературной группы я не пошел, смелости не хватило.

Прошло дня три или четыре.

В то время бригада, в которой я работал электросварщиком, занималась монтажом оборудования завода силикатного кирпича. В столовой обедать дороговато, и я, примостившись с бутылкой кефира в красном уголке завода, лениво листал подшивку газеты «Комсомольское знамя», высматривая что-нибудь интересное. Вдруг вижу на странице под колонкой строчек... свое имя.

Да это же мои стихи! Набраны жирным шрифтом под рубрикой: «Дела молодежные». Читаю и краснею. Со страницы газеты мои строчки о рабочем классе показались, действительно, вялыми, неубедительными: вот это надо бы изменить так, а это — вот эдак...

Прочитал и даже ребятам из бригады не стал хвастаться — засмеют. Стихи — как здание. Плохо уложенные некачественные кирпичи делают все сооружение неустойчивым. Толкни — и оно развалится. Работать надо так, чтобы не было зазора, ряд к ряду, строчка к строчке.

Вечером не удержался, пошел в редакцию.

Иду и думаю, что сказать редактору? Поблагодарить — подумает, что

льстец двуликий, бездарность. Посетовать на неудачную публикацию? Так ведь сам стихи сочинил, сам принес в редакцию, сам читал. Чего же ты хочешь?

В редакторском кабинете топор кинешь — у потолка висеть будет. Табачного дыма невпроворот. Ребята, мои ровесники, может, кто-то даже помоложе. Сидят, где придется. Места на диване утрамбованы. Некоторые расположились на полу на корточках. Разговор веселый. За разговором слышится характерный ремизовский клекот — кхе-кхе-кхе! Все — товарищи. Все — свои люди. Один я — пришей к пуговице рукав. Оглядываюсь, где бы прислониться.

Собравшаяся публика не обращает на меня никакого внимания — пришел, ну и пусть, пришел! Мало ли кто сюда приходит?

Ремизов грузно поднимается со своего редакторского места. Протягивает мне руку. Сгоняет кого-то со стула:

— Садись, старик! Читал свои вирши?

Я смущенно тру переносицу: вроде бы читал, а вроде бы и нет. Не знаю, что ответить.

Как раз в кабинет вошла, не раз потом меня тоже выручавшая редакционная бесшменная бухгалтерша, незабвенная Елена Антоновна.

— Елена Антоновна, выплати молодому поэту гонорар за стихи в воскресном номере — переводит разговор Ремизов.

Слово «гонорар» звучит завораживающе. Удовольствие писать, да еще за это получать деньги — удовольствие вдвойне.

Я привык получать деньги только за ту работу, от которой гудит спина и разламывает плечи. Поэтому, взяв вознаграждение за стихи, я к этим, хоть небольшим, но деньгам возымел стороннее отношение: вроде это и не деньги вовсе, хотя за ту сумму можно отовариться в ближайшем гастрономе тремя бутылками вермута. Что совсем неплохо для первого знакомства с пишущей братией.

Увидев в руках у меня жухлые, как осенние листья, рубли, публика в редакторском кабинете оживилась

— Кто пойдет? — говорю я, как можно независимее.

— А у нас один ходя — Женя Харланов.

Длинновязый, студенческого вида парень, смущенно берет у меня рубли и молча просачивается в дверь.

Ремизов нас выпроваживает из кабинета.

Заворачиваем за угол, где теперь на столбе возвышается бюст Державина. А раньше здесь многодумно шумел старинный парк с разлапыстыми во все стороны деревьями, где безопасно можно было любое дело отметить выпивкой, обнимая и хлопая друг друга по плечам. Милиция сюда не заглядывала.

— Ты мне друг?

— Друг!

— А ты мне?

— А то как же!

— Э, старик, а ты чихну написал!

— Напиши лучше!

— Языка-то нет! Нет языка!

— Вот гениальные строчки! Слушай!

Читаются непременно модные тогда: Багрицкий, Луговской с его «Синими гусарами», Гарсиа Лорка и вновь открытый гениальный Павел Васильев, от строчек которого мурашками покрывается кожа.

Перезнакомился со всеми.

Бужим.

— А ты все же чихню написал! — опять втолковывает мне, безразлично морща лицо, Гена Якушенко. Слава Шутков, двигая пальцем очки, старается поддержать меня своим одобрением. Толя Куприн, из Литинститута приехавший на каникулы, презрительно смотрит на всех и цедит сквозь зубы что-то глубокомысленное и вечное.

Трех бутылок оказывается мало. Принесли еще. Теперь молодой морозец не в счет. Мы сами молодые — изо рта пламя. Из ноздрей дым клубится.

Как сладко было тогда чувствовать себя причастным к компании этих умных забудлыг, к самозабвению от удачных поэтических строчек, к открытию новых имен.

Сколько хочешь, плачь и сетуй,

Ни звезды нет, ни огня.

Ни дождешься до рассвета,

Не увидишь больше дня.

В этом мраке, в этой темноте

Страшно выглянуть за дверь:

Там ворочается время,

Как в глухой берлоге зверь!

Да, было время, и были стихи, и были ночи напролет за чтением вслух Клычкова. Павла Васильева. Запрещенного тогда Ключева, начинающего Николая Рубцова...

С ума сойти, какие строки! Какая поэзия, какой народный говор! Как мы всем этим восхищались!

Сегодня узкогубый мальчик, ползая козявкой по всемирной паутине, вряд ли знает эти имена: Нарбут, Ксения Некрасова, Михаил Кузмин... Да мало ли кого еще можно вспомнить, кто не на слуху у сегодняшних тинэйджеров. Вот ведь слово липучее! Заграничной черной блошкой неизвестно как и зачем прыгнуло нам на язык.

Поэзия, без которой ни одна нация не может осознавать самое себя, сегодня воспринимается электронными пауками как атавизм, ну, вроде слепой кишки, которую надо еще в зачаточном состоянии скальпелем вжик! И нету! Что за чудачество писать метафорами да еще в рифму? Давай коммерцию! Коммерцию давай!

Становится страшно, что для души в авральной и аварийной России не хватает пространства. Она, эта душа народа, задыхается в потаенных углах человеческой психики, не зная востребованности. Нам все некогда, деньги-деньги! Мани-мани! От общения с печатной нынешней продукцией остается только привкус горечи. А ведь всего лет тридцать назад было совсем другое. Поэзия была из отворенной жилы Кастанльского родника ключом...

— Старик, — говорит в другой раз Ремизов. — Послушай:

Умывался ночью во дворе —

Твердь сияла грубыми звездами.

Звездный луч, как соль на тополе,

Стынет бочка с темными краями...

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

— Учись материализовывать образ, — закидывает в черное небо большую голову взволнованный мой учитель.

Ремизов был тоже большой любитель заугольных бесед:

— Делай, делай метафору весомой и яркой, но подвижной, как ртуть, чтобы ее шапкой не прихлопнуть, — втолковывает он мне. — Метафора должна стать для читателя неотвязной, как воспоминание о первом поцелуе. Главное — не суетись, не торопись...

— Да я и не суечусь! Только охота побыстрее выплеснуть то, что вращается вот тут. — Показываю на сердце. — По ночам покоя не дает.

— Э-э — тянет Ремизов. — По ночам в твоем возрасте надо не тем заниматься. А поэзия должна быть всегда с тобой, как имя и отчество. Нет, как женщина. Если ее не удовлетворишь, — она к другому уйдет. В стихах выкладывай всю свою сущность. Как будто это последнее слово приговоренного к смертной казни. Вот послушай, как «обло, озорно, огромно» говорит один совсем не знаменитый поэт. Вряд ли кто-нибудь прочитает эти сумасшедшие строки. Вот где экспрессия! Сама гроза говорит на языке дождя и грома.

Мой учитель снова закидывает голову к звездам:

Как быстро высыхают крыши.
Где буря? Солнце припекло.
Градиной вихрь на церкви вышиб
Под самым куполом стекло.
Как будто выхватил проворно
Остроконечную звезду —
Метавший ледяные зерна,
Гудевший в небе на лету.
Овсы лохматы и корявы,
А рожью крытые поля:
Здесь пересечены суставы,
Коленце каждого стебля.
Христос! Я знаю, ты из храма
Сурово смотришь на Илью:
Как смел, пустить он градом в раму
И тронуть скинию твою?
Но мне — прости меня, я болен,
Я богохульствую, я лгу —
Твоя раздробленная голень
На каждом чудится шагу.

Я стоял совсем обалдевший от этих строк. Не знаю, откуда, с какого дерева русской поэзии такие плоды? Или вот это:

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук!
Жизнь себя перемагает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестела,
Кровь, как нынче шелестишь.
Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

Эти стихи у меня остались в записях того времени. Да мало ли что я тогда записывал! Каждая клетка моей молодости резонировала в ритм удачных строк, своих и чужих. Больше чужих.

Так пониманию поэзии я учился на «Литературных средах» у добрейшего Георгия Дмитриевича, которого мы называли просто Юрой. Его добродушное лицо тамбовского мордвина было всегда приветливым и лучистым, то ли от очков, которые он никогда не снимал, а то ли от внутреннего света, рожденного вибрацией духа. Доброхот и компанейщик по натуре, он редко кому отказывал в помощи.

Многие комсомольские секретари того времени были ребята ушлые, но ограниченные в интеллектуальном отношении. Как говорить, умный в гору не пойдет. Флюгеристы и конторщики по образу мыслей, они пристегивали Ремизова к своему крытому красным сукном столу, используя его как литературного раба. Нескончаемые отчеты и доклады, речи к бесчисленным съездам и знаменательным датам, передовицы о починах перекладывались на плечи Георгия Дмитриевича, по большому счету мешая его творческой работе, выхолащивая и обедняя его литературный язык. Казенность и стереотипность письма незаметно проникали в подсознание, отравляя зеленые ростки непосредственности и самобытности. Единственная книга его рассказов «Снежный рейс», конечно, на мой теперешний взгляд, вышла неудачной. Как сказал когда-то Леонид Мартынов: «...В ней жизни нету, в этой самой дистиллированной воде». Все вроде бы хорошо, все понятно и стилистически выверено, но в то же время походит на телеграфный столб, вытесанный из ветвистого живого дерева. Ремизов по первой своей специальности был автомехаником и какое-то короткое время работал в степном автохозяйстве, но дальнейшая личная судьба так далеко оторвала его от обычной повседневной работы автохозяйства, что воспоминания о той жизни, переведенные на печатный лист, стали тусклыми и серыми.

Но моя память о старом товарище говорит не об этом. Теоретик физики или механики не всегда может починить и простой велосипед. Профессор консерватории не обязательно должен быть виртуозным скрипачом. Я сам пятнадцать лет преподавал технические дисциплины и сварочное дело в ПТУ, но многие мои ученики стали такими отменными сварщиками, что запросто заткнули бы меня за пояс, если бы я попробовал с ними тягаться. Но это не значит, что я был плохой преподаватель. Все так. Поэтому простятся мне здесь некоторые критические повороты.

Ремизов сам по себе не был верхохватом с претензиями. По долгим нашим беседам не только за чаем, к которому он имел особое пристрастие, и всегда пил его дегтярной крепости и без сахара. Он никогда и ни в чем не отделялся от нас, более молодых. Радовался удачным находкам и огорчался слабым и блеклым, по его мнению, вещам.

— Работать, старик, надо! Кхе-кхе-кхе! — посмеиваясь, говорил он. — И поэма твоя — бодяга, но в ней что-то есть, и ее, наверное, надо опубликовать...

И опубликовал. Правда, тянул резину, но вещь, наконец, увидела свет. За этой поэмой он меня сам командировал на комсомольскую стройку, в Уварово.

А поэма потом оказалась вроде и ничего. Присудили премию. Разговор шелестел...

В молодые годы у меня была большая обида на Ремизова. Незрелое мое тщеславие и амбиции были тому виной. Мне страстно хотелось тогда поработать в газете штатным сотрудником. Порисоваться перед девочками своей причастностью к прессе, погусарить при случае с заветным складнем удостоверения в кармане.

Святая наивность юности!

Яков Чверткин, ныне покойный, требовательный и бескомпромиссный заведомо комсомольской жизни, дал мне задание на несколько пробных материалов. Решил сделать мне обкатку. Материалы были написаны на следующий день и довольно объемные. С одобрения Чверткина тут же опубликованы в газете.

Казалось бы, какой вопрос? Давай трудовую книжку монтажника, заявление, — и паши во славу ленинского комсомола и великой КПСС. Ан, не тут-то было! Ремизов скептически отнесся к моей необузданной прыти:

— Не суетись, старичок! Газета — девка продажная. Она превратит тебя в творческого импотента. Это все равно, как жить с привокзальной шлюшкой. Вроде все есть, все на месте — вот оно! А ты не можешь! Кхе-кхе-кхе!.. Тебе это не нужно. Ты работяга, авангард страны, ее базис. Куй свой железный венец! Монтажник ходит сквозь огонь и железные трубы, ему сверху все видно.

Я обиженно хмыкал. Доказывал, что тоже умею менять цвета в зависимости от обстановки.

— Нет, старик! — говорил он категорически.

Я, утираясь, уходил. Клялся, что больше к Ремизову — ни ногой! Но потом успокаивался, возвращался снова, как возвращается птица в свое гнездо, где родилась.

Больше я подобные разговоры с Ремизовым не затевал.

...И вот теперь — эта тихая могилка, где путаются в жухлой траве всякие козявки, весело перебирая ножками.

Подержался на прощанье за железную оградку, махнул рукой своей случайной спутнице и, не оборачиваясь, пошел опять ковать свой железный венец. Там меня ждала вечно ненавистная, но неразлучная монтажная работа. Планы, процентовки, стычки с заказчиком и с не совсем трезвой бригадой.

Увидав мои бумаги, начальник капитального строительства завода, матерясь, смахнул их со стола, не обращая внимания на поставленную возле его ног бутылку. — Смотри, что твои мерзавцы делают!

Я посмотрел в окно кабинета. Напротив, мозоля глаза, под густым раскидистым тополем лежала вповалку моя злая рота.

Ах, сволочи! Уже набрались!

Выскакиваю из конторы. Толкаю ногой бригадира. Тот, обернувшись, широко улыбается.

— Не гони пургу, начальник! Работа... и постоять может.

— Буди остальных!

Все, лениво позевывая и почесываясь, поднимаются с примятой, такой прохладной и блаженной травки.

— Пошли, покажешь работу! — тащу я за брезентовый рукав робы бригадира.

Подходим. Трубопроводы на эстакаде пристыкованы и обварены электросваркой. Снизу хорошо видны светлые сварные швы. Еще не веря, лезу по стремянке наверх проверять качество сварных соединений. Иду, балансируя руками, по трубе. Нервы на пределе. Нога обшмыгивается, и я лечу с верхотуры вниз головой на выступающие концы металлоконструкций.

Ломать бы мне шею, если бы не бугор, бригадир то есть.

Он, здоровенный, с бычачьей шеей мужик, в обхват подхватил меня на излете. Оба падаем на гулкий металлический настил площадки...

Вот они — огонь и железные трубы!

Прав был незабвенный Георгий Дмитриевич Ремизов, что не взял меня тогда на бумажную работу. С тех пор жизнь меня научила многому, и самое главное, — иметь к происходящему собственное не поверхностное мнение, освобождая мой язык от косности и блочного самовыражения.